

Глава V-I. Психологическое объяснение идеи справедливого и несправедливого и определение принципа власти и права

Собственность невозможна; равенство не существует. Первая нам ненавистна, и мы её желаем, второе владеет всеми нашими помыслами, но мы не умеем его осуществить. Кто объяснит нам этот глубокий антагонизм между нашим сознанием и нашей волей? Кто выяснит причины этого рокового заблуждения, сделавшегося священнейшим принципом справедливости и общества?

Я решил сделать это и надеюсь достигнуть успеха.

Но прежде чем объяснить, как человек совершил насилие над справедливостью, необходимо определить самое понятие последней.

1. О нравственном чувстве у человека и ЖИВОТНЫХ

Философы не раз поднимали вопрос о том, где начинается точная граница, отделяющая ум животного от ума человека; и по обыкновению они наговорили и наделали массу глупостей, прежде чем решились сделать то, что только и нужно было делать, — прибегнуть к наблюдениям. Скромному учёному, который, быть может, никогда не воображал себя философом, предназначено было положить конец этим бесконечным препирательствам простым определением, но одним из тех определений, которые важнее целых систем.

Фредерик Кювье установил различие между *инстинктом и умом*.

Но никто ещё не поднимал вопроса:

Имеет ли различие между нравственным чувством человека и животных только количественный или же качественный характер?

Если бы в прежнее время кто-нибудь вздумал утверждать первое, то его утверждение сочли бы безумием, святотатством, оскорблением нравственности и религии; светские и духовные суды единогласно осудили бы его. А каким высоким слогом бичевали бы этот безнравственный парадокс! «Совесь, — раздались бы восклицания, — совесь, эта гордость человека, дана только ему одному; понятие справедливого и несправедливого, добродетели и порока является его благороднейшей привилегией; одному лишь человеку, царю природы, венцу творения, дана возвышенная способность противостоять суетным склонностям, выбирать между добром и злом и всё более уподобляться Богу, благодаря свободе и справедливости... Нет, священная печать добродетели запечатлена только в сердце человека». Это слова, полные чувства, но лишённые смысла.

Человек есть животное, имеющее дар речи и общественное — *zôon logikon kai politikon*{37}, говорит Аристотель. Это определение более верное, чем все последующие, не исключая даже знаменитого определения г. де Бональда: *человек — это ум, которому служат органы*. Последнее имеет два недостатка: оно объясняет известное неизвестным, т. е. живое существо умом, и умалчивает о животном происхождении человека.

Итак, человек есть животное, живущее в обществе. Кто говорит «общество», тот разумеет совокупность отношений — словом, систему. Всякая система может существовать лишь при известных условиях. Каковы же условия, каковы *законы* человеческого общества?

Что такое *право*, что такое *справедливость*?

Было бы бесполезно повторять вместе с философами различных школ: это божественный инстинкт, бессмертный и небесный голос, руководитель, данный природою, свет, озаряющий всякого человека, когда он является на свет, закон, запечатлённый в наших сердцах, это крик совести, внушение ума, вдохновение чувства, склонность чувствительности; это любовь к себе в других, разумно понятая выгода; или же: это понятие врождённое, это категорический императив практического разума, источником которого являются идеи чистого разума; это страстное влечение и т. д. и т. д. Всё это может быть настолько же верно, насколько и прекрасно, однако всё это не имеет абсолютно никакого значения. Если б эту канитель тянуть на протяжении хотя бы и десяти страниц (ею наполнены тысячи томов), то разрешение нашего вопроса всё-таки ни на шаг не подвинулось бы вперёд.

Справедливость есть общее благо, говорит Аристотель{38}. Это верно, но это тавтология. «Принцип, что общее благо должно быть целью законодателя, — говорит г. Ш. Конт в своём *Traité de législation*, — не может быть ничем опровергнуто; но, провозгласив и доказав его, мы для прогресса законодательства сделали столько же, сколько сделали бы для успеха медицины, установив, что лечение больных должно быть делом врачей».

Изберём иной путь. *Право* есть совокупность принципов, управляющих обществом; справедливость в человеке есть уважение к этим принципам и соблюдение их. Соблюдать справедливость — значит повиноваться общественному инстинкту; совершить акт справедливости — значит совершить акт социальный. Если мы будем наблюдать поведение людей по отношению друг к другу при различных обстоятельствах, то нам нетрудно будет заметить, когда они совершают поступок общественный и когда антиобщественный. В результате мы, путём индукции, получим закон.

Начнём с самых простых и наиболее наглядных случаев.

Мать, защищающая сына с опасностью для собственной жизни и отказывающая себе во всём, чтобы питать сына, составляет с ним общество — она хорошая мать, и наоборот, мать, бросающая сына, не повинуетя общественному инстинкту, одной из форм проявления которого является материнская любовь, — она дурная мать.

Когда я бросаюсь в воду, чтобы спасти утопающего, я его брат, его союзник; но когда я его толкаю в воду, я его враг, убийца.

Человек, дающий милостыню, поступает с бедняком как со своим союзником, товарищем; не как с товарищем при всех обстоятельствах, но лишь как с товарищем, с которым он делится данным количеством благ. Кто силою или хитростью присваивает себе то, чего он не произвёл, тот сам в себе уничтожает принцип общественности и является разбойником.

Самарянин, поднимающий лежащего на дороге путника, перевязывающий его раны, подкрепляющий его и дающий ему деньги, становится его товарищем, ближним; священник, равнодушно проходящий мимо того же путника, остаётся ему чуждым, враждебным.

Во всех этих случаях человек следует внутреннему влечению к подобным себе, скрытой симпатии, заставляющей его любить, сочувствовать, сострадать. Для того чтобы противостоять этому влечению, нужно усилие воли, противящейся природе.

Но всё это не устанавливает никакого резкого различия между человеком и животными. Пока слабость детёнышей животных возбуждает к ним любовь их матерей, последние с опасностью для собственной жизни защищают их от нападений, проявляя при этом мужество не менее героическое, чем мужество людей, умирающих за свою родину. Некоторые виды соединяются в общества для охоты, отыскивают, зовут — поэт сказал бы, приглашают — друг друга для раздела добычи. В случае опасности животные предупреждают, защищают друг друга. Слон умеет вытаскивать своих товарищей из ловчих ям; коровы окружают своих телят кольцом, становясь вокруг них головами наружу для отражения волков. Лошади и свиньи прибегают на крик боли своих товарищей. Я мог бы долго описывать их браки, нежность самцов к самкам, верность в любви. Следует, впрочем, в интересах справедливости признаться, что эти трогательные проявления товарищества, братства и любви к ближним не мешают животным ссориться, драться и уничтожать друг друга из-за пищи и из ревности. Животные в самом деле чрезвычайно похожи на нас!

Общественный инстинкт свойствен человеку и животным в различной степени, но по существу он и у того, и у других одинаков. Человек больше нуждается в обществе,

животное более приспособлено для одиночества. У человека потребность в обществе более настоятельна и сложна, у животного эта потребность, по-видимому, менее глубока, сложна и настоятельна. Вообще у человека общество имеет целью сохранение рода и индивидуума, у животных же только сохранение рода.

До сих пор мы не открыли ничего такого, на что человек мог бы претендовать как на свойственное исключительно ему: общественный инстинкт, нравственное чувство существует и у животных. Совершая некоторые поступки, вызванные состраданием, справедливостью и преданностью, человек мнит себя подобным Богу, забывая, что он при совершении этих поступков следует чисто животному влечению. Мы бываем добрыми, любящими, сострадательными, справедливыми, но в то же время жадными, злыми, сладострастными и мстительными — совсем как животные. Высшие наши добродетели при тщательном анализе оказываются слепыми проявлениями инстинкта. Как они достойны прославления и канонизации!

Существует, однако, всё-таки известное различие между нами, двуногими, и остальными живыми существами. В чём оно заключается? Ученик философии поспешит ответить нам: это различие заключается в том, что мы сознаём свою общительность, животные же её не сознают; а также в том, что мы размышляем и рассуждаем о проявлениях нашего социального инстинкта, животные же на это не способны.

Я пойду дальше: благодаря способности мыслить и рассуждать, свойственной, по-видимому, нам одним, мы знаем, что и для других, и для нас самих вредно противиться общественному инстинкту, который руководит нами и который мы называем *справедливостью*; разум говорит нам, что человек эгоистичный, вор, убийца — словом, изменник обществу — грешит против природы и становится преступником по отношению к другим и к самому себе, когда причиняет зло сознательно; и наконец, наш социальный инстинкт — с одной, а разум, с другой стороны, подсказывает, что существа, подобные нам, должны быть ответственными за свои поступки. Таков принцип раскаяния, мести и уголовного правосудия.

Но всё это изобличает вовсе не различие между чувствами человека и животных, а только различие в способности разумения. Обсуждая наши взаимоотношения с ближними, мы обсуждаем также самые обыденные наши поступки: еду, питьё, выбор жены, подыскание жилища; мы рассуждаем обо всём в мире; нет ничего, к чему бы мы ни приложили своей способности суждения. И вот, подобно тому как приобретаемое нами знакомство с явлениями внешнего мира не влияет на их причины и законы, так и способность суждения, просвещая наш инстинкт, выясняет нам нашу чувственную природу, но не изменяет её характера, показывает нам нашу нравственную жизнь, но не воздействует на неё. Недовольство, которое мы чувствуем, когда совершили ошибку, негодование, вызываемое в нас несправедливостью, понятие о заслуженной каре и должном удовлетворении являются результатом рефлексии, рассуждения, но вовсе не непосредственными проявлениями инстинкта и чувственных ощущений. Способность суждения — я не скажу: принадлежащая исключительно нам, ибо животные также сознают свои проступки и также волнуются, когда кто-нибудь из подобных им подвергается опасности, — но гораздо более развитая у нас способность суждения о наших общественных обязанностях, сознание того, что хорошо или дурно, не составляет существенного различия между нравственным миром человека и

нравственным миром животного.

2. О первой и второй степени общительности

Я настаиваю на констатированном мною выше факте, который является одним из важнейших для антропологии.

Чувство симпатии, влекущее нас к обществу, по природе своей слепо, беспорядочно, всегда может быть парализовано впечатлением минуты и не считается ни с давностью прав, ни со старшинством, ни с заслугами. Непородистая собака бежит вслед за каждым, кто её позовёт; грудной младенец считает каждого мужчину своим отцом, каждую женщину — своей кормилицей; каждое живое существо, лишённое общества себе подобных, привязывается к товарищу, с которым разделяет своё одиночество. Эта основная черта инстинкта общительности делает невыносимой и даже ненавистной дружбу людей легкомысленных, способных увлекаться каждым новым лицом, готовых услужить всем и каждому и ради мимолётной связи забывающих самые старинные и наиболее достойные уважения привязанности. Подобные существа страдают не отсутствием сердца, но отсутствием способности суждения. На этой ступени общительность представляет собою нечто вроде магнетизма, который вызывает в нас созерцание подобного нам существа; этот магнетизм никогда не исходит от того, кто его испытывает, он может быть взаимным, но сообщить его другому нельзя. Назовите этот магнетизм любовью, доброжелательством, жалостью, симпатией — всё равно в нём не заключается ничего, заслуживающего уважения, ничего, возвышающего человека над животным.

Второй степенью общительности является справедливость, которую можно определить как *признание в другом личности, равной нашей*. Как чувство она одинаково свойственна и нам и животным, но только мы способны сознать её, составить себе точное понятие о *справедливом*, что, однако, как я уже говорил выше, не изменяет сущности нравственности. Мы скоро увидим, каким образом человек возвышается до третьей ступени общительности, уже недоступной для животных. Но я предварительно должен доказать путём умозрений, что *общество, справедливость, равенство* — выражения равнозначные, которые всегда вполне законным образом могут быть превращены одно в другое.

Когда я, во время кораблекрушения, спасаясь в лодке с известным количеством съестных припасов, замечаю человека, борющегося с волнами, обязан ли я помочь ему? Да, я обязан помочь ему под страхом совершения человекоубийства, измены обществу.

Но обязан ли я также разделить с ним свои припасы?

Для того чтобы разрешить этот вопрос, надо придать ему иную форму: если общность обязательна относительно лодки, то обязательна ли она также относительно припасов? Без всякого сомнения — да; долг товарища, члена общества, абсолютен. Завладению вещами со стороны человека предшествует его общественная природа, и первое подчиняется

последней, владение становится исключительным лишь с того момента, когда всем дано равное право оккупации. Долг наш в данном случае затемняется нашей способностью предвидения, которая, заставляя нас бояться возможной опасности, толкает нас на узурпацию, делает из нас воров и убийц. Животные не сознают ни своего инстинктивного долга, ни последствий, могущих проистечь для них от выполнения этого долга. Было бы странно, если бы способность суждения сделалась для человека, самого общительного животного, причиной неповиновения закону. Кто уверяет, что пользуется своей способностью суждения только для своей выгоды, тот лжёт обществу. Лучше было бы, чтобы Бог лишил нас предусмотрительности, если последняя служит орудием нашего эгоизма!

Как, скажете вы, надо, чтобы я разделил свой хлеб, хлеб заработанный, составляющий моё достояние, с чужим человеком, которого не знаю, никогда больше не увижу и который, быть может, оплатит мне неблагодарностью? Если б, по крайней мере, мы заработали этот хлеб вместе, если б этот человек сделал что-нибудь для получения хлеба, он мог бы требовать своей доли, ссылаясь на своё сотрудничество со мною; но ведь у меня нет ничего принадлежащего ему! Мы не работали вместе, не будем также вместе и есть.

Ошибочность этого рассуждения заключается в ложном предположении, что данный работник не является неизбежно союзником всякого другого работника.

Когда двое или больше частных людей основывают общество, когда принципы последнего установлены, написаны и скреплены подписями, вытекающие из этого факта следствия понятны без труда. Когда двое людей основывают общество, скажем, для рыбной ловли, то все согласны с тем, что тот из них, кто не поймал ни одной рыбы, имеет право на улов другого. Когда два торговца основывают общество для торговли, то и прибыли и убытки они делят пополам до тех пор, пока существует общество. Если каждый производит не для себя, а для общества, то в момент распределения благ принимается в расчёт не производитель, а член общества. Вот почему раб, которому плантатор даёт только солому и рис, вот почему рабочий, которому капиталист даёт слишком маленькое вознаграждение, вот почему они, производя вместе со своим хозяином, но не будучи его товарищами, не получают своей доли в дележе. Лошадь, которая нас везёт, бык, который тащит наш плуг, производят вместе с нами, но не являются нашими товарищами; мы берём их продукт, но не делимся им с ними. Положение животных и рабочих, которые нам служат, одинаково; когда мы делаем добро тем или другим, мы делаем это не по долгу справедливости, но из чувства доброжелательства[22].

Но может ли быть, чтобы мы, люди, не были товарищами, членами одного общества? Вспомним, что говорилось в двух предыдущих главах; если бы даже мы не хотели быть членами общества, то нас принудили бы к этому самая сила вещей, наши потребности, законы производства, математический принцип обмена. Исключение из этого правила есть только одно: таковым является собственник, который производит, благодаря своему праву на получение дохода (*droit d'aubaine*), но не является ничьим товарищем и, следовательно, ни с кем не обязан делиться, так же как и другие не обязаны делиться с ним. Все мы, кроме собственника, работаем один для другого; сами по себе, без помощи других мы ничего не можем сделать, мы постоянно обмениваемся между собой произведениями и услугами: что

же всё это, если это не акты общительности?

Коммерческое, промышленное, сельскохозяйственное общества немислимы без равенства; равенство является необходимым условием их существования, так что во всём, имеющем отношение к данному обществу, нарушение последнего равняется нарушению справедливости, равенства. Приложите этот принцип ко всему человеческому роду; после того, что вы прочли, читатель, вы, полагаю, можете обойтись при этом и без моей помощи.

Итак, человек, завладевающий участком земли и говорящий: это моё поле, не будет несправедлив до тех пор, пока все люди будут иметь возможность также сделаться владельцами; он не будет несправедлив также и в том случае, если, желая переселиться на другое место, переменит один участок поля на другой. Но если он, поставив на своё место другого, говорит ему: работай для меня, пока я буду отдыхать, то он становится несправедливым, антиобщественным, *неравным*, становится собственником.

В свою очередь, лентяй, бездельник, не выполняющий никакой общественной функции, но пользующийся произведениями других в такой же, а часто даже в большей степени, чем другие, должен преследоваться как вор, как паразит. Мы сами перед собою обязаны ничего ему не давать; но так как жить ему надо, то мы должны подвергнуть его надзору и принудить к работе.

Общительность представляет собою для мира живых существ как бы силу тяготения; справедливость — то же самое тяготение, сопровождаемое рефлексией и знаниями. Но под каким общим понятием, под какой категорией познания воспринимаем мы справедливость? Под категорией равных количеств. Отсюда древнее определение юриспруденции: *Justum aequale est, injustum inaequale*{39}.

Что же значит: совершать справедливость? Это значит давать каждому равную часть благ под условием равной суммы труда, это значит действовать сообразно интересам общества. Как бы эгоизм наш ни роптал, нет возможности обойти очевидную необходимость.

Что такое право оккупации, завладения? Это естественный способ разделения земли путём расселения работников одного рядом с другим, по мере того как они появляются; это право, сталкиваясь с общим благом, уничтожается, ибо общее благо, будучи благом общественным, является также благом каждого отдельного оккупанта.

Что такое право труда? Это право на участие в пользовании благами при условии выполнения известных обязанностей, это право социальное, право равенства.

Справедливость, продукт известной комбинации идеи и инстинкта, проявляется в человеке, как только он приобретает способность чувствовать и мыслить. Поэтому её считают понятием врождённым, первоначальным; взгляд этот ложный и с логической и с хронологической точки зрения. Но справедливость, которая по своему составу является, так сказать, гибридной, справедливость, возникшая из двух способностей, чувственной и интеллектуальной, кажется мне одним из наиболее сильных аргументов в пользу единства и простоты нашего я, ибо организм сам собою не может создавать такие смеси, подобно тому как он из двух чувств, слуха и зрения, не может создать чувства смешанного,

полузрительного, полуслухового.

Справедливость, благодаря двойственности своей природы, окончательно подкрепляет приведённые нами во II, III и IV главах доказательства. Так как, с одной стороны, идея *справедливости* идентична с идеей общества, а последнее неизбежно заключает в себе понятие равенства, то равенство должно было бы служить основой всех софизмов, изобретаемых в защиту собственности. Последнюю можно защищать только как явление справедливое и общественное, а так как собственность влечёт за собою неравенство, то для того, чтобы доказать, что собственность не противоречит обществу, надо доказать, что несправедливое — справедливо, неравное — равно, а это противоречие. Но так как, с другой стороны, второй элемент справедливости, понятие равенства, дан нам в математическом соотношении вещей, то собственность или неравное распределение благ между трудящимися, нарушая необходимое равновесие труда, производства и потребления, должна оказаться невозможной.

Итак, все люди — члены одного общества, все обязаны быть справедливыми по отношению друг к другу, все равны; следует ли отсюда, что предпочтение, вызванное любовью или дружбой, несправедливо?

Здесь необходимо дать некоторые пояснения.

Выше я привёл пример человека, подвергающегося опасности, которому я мог оказать помощь. Допустим теперь, что меня зовут на помощь одновременно два человека; можно ли мне, должен ли я сначала броситься на помощь тому, кто мне ближе по крови, по дружбе, по уважению и благодарности, которые я к нему чувствую, могу ли я это сделать, рискуя гибелью второго? Да. А почему? Потому что внутри общественного целого для каждого из нас существует столько же частичных обществ, сколько и индивидуумов, и потому что в силу самого принципа общительности мы должны исполнять возлагаемые на нас этими обществами обязанности сообразно с тем, насколько близок нам круг, который каждое из них образует вокруг нас. Таким образом, мы должны предпочитать всем другим нашего отца, мать, детей, друзей, товарищей и т. д. В чем, однако, должно заключаться это предпочтение?

Судья должен решить дело между своим другом и своим врагом. Может ли он в этом случае предпочесть своего *более близкого товарища более далёкому* и, вопреки истине и справедливости, решить дело в пользу своего друга? Нет, ибо, если б он поддержал несправедливость этого друга, он сделался бы соучастником его измены общественному договору, составил бы с ним, так сказать, заговор против всей совокупности членов общества. Предпочтение уместно только в личных отношениях, определяемых любовью, уважением, доверием, близостью, которые мы не можем чувствовать ко всем сразу. Во время пожара отец должен сначала спасти своего ребёнка, а потом уже думать о ребёнке соседа. Но так как признание права со стороны судьи не личное и не факультативное признание, то он и не властен потворствовать одному в ущерб другому.

Эта теория частичных обществ, образующих вокруг каждого из нас, так сказать, концентрические круги внутри всего общества, даёт ключ к разрешению всех проблем,

какие только могут породить различные виды общественных обязанностей, вступая друг с другом в противоречие, проблем, являвшихся основной идеей древних трагедий.

Справедливость животных носит, так сказать, отрицательный характер. Исключая случаи защиты детёнышей, общих охот, нападений и защиты, а также изредка помощи отдельному индивидууму, она не деятельна, а пассивна. Больной, не способный двигаться, или неосторожный, свалившийся в пропасть, не получает ни лекарств, ни пищи; если они не могут выздороветь или выбраться из пропасти сами, жизнь их в опасности; никто не будет ухаживать за больным, никто не будет посещать и кормить попавшего в плен. Беззаботность животных зависит в такой же мере от недостатка средств, как и от скудости ума. Впрочем, различные степени близости, существующие между людьми, наблюдаются и среди животных; у них существует дружба, добрые соседские и родственные отношения, симпатии. Память у них развита слабее, чем у нас, чувства бессознательны, ум почти отсутствует. Тождество, по существу, однако, всё-таки имеется налицо, и наше превосходство над ними в этом отношении происходит исключительно от нашей сознательности.

Благодаря обширности нашей памяти и глубине суждения, мы умеем умножать и комбинировать действия, внушаемые нам общественным инстинктом, учимся делать их более успешными и направлять их сообразно степени и совершенству прав. Животные, живущие обществами, следуют справедливости, но они её не знают и не обсуждают; они повинуются своему инстинкту, не рассчитывая и не философствуя. Их я не умеет соединять общественный инстинкт с понятием равенства, ибо последнее, как понятие отвлечённое, им недоступно. Мы же, наоборот, исходя из принципа, что общество обуславливает собою равенство распределения, и при помощи нашей способности суждения можем входить друг с другом в соглашения относительно урегулирования наших прав, в этом мы даже значительно преуспели. Но сознание наше здесь играет самую незначительную роль, это доказывается тем, что понятие *права*, едва намеченное у некоторых, наиболее близких к нам в смысле умственного развития животных, находится, по-видимому, в таком же зародышевом состоянии у некоторых диких народов и достигает высшего развития лишь в отдельных личностях, Платонах и Франклинах. Стоит проследить развитие нравственного чувства у отдельных личностей и развитие законов у целых народов, чтобы убедиться, что понятие справедливости и совершенство законодательства повсюду прямо пропорциональны развитию разума. Таким образом, понятие справедливого, казавшееся философам простым, на самом деле сложно. Оно вытекает из социального инстинкта, с одной, и из понятия равных заслуг, с другой стороны, подобно тому как понятие виновности порождено чувством нарушения справедливости и понятием о свободе воли.

Итак, инстинкт не изменяется от присоединяющихся к нему познаний и рассмотренные нами до сих пор акты общительности свойственны нам наравне с животными. Мы знаем, что такое справедливость или общительность, соединённая с пониманием равенства. Нет ничего, отличающего нас от животных.

3. О третьей степени общительности

Быть может, читатель не забыл того, что я говорил в III главе о разделении труда и об особенностях дарований. Сумма талантов и способностей у людей равна, и характер их однороден. Все мы, без исключения, рождаемся поэтами, математиками, философами, артистами, ремесленниками, земледельцами; но мы рождаемся ими не в одинаковой степени, и между способностями различных людей, так же как и между способностями одного человека, могут существовать всевозможные различия. Эти различия в степени одних и тех же способностей, это преобладание одного какого-нибудь таланта, является, говорили мы, основой нашего общества. Природа распределила ум и гениальность с такой бережливостью и с такой предусмотрительностью, что социальному организму нечего опасаться ни избытка, ни недостатка специальных талантов, и каждый работник, выполняя свои функции, всегда может достигнуть степени образования, необходимой для того, чтобы он мог воспользоваться трудами и открытиями остальных членов общества. Благодаря такой простой и мудрой предосторожности природы работник не остаётся одиноким при выполнении своей задачи; мысленно он находится в общении со всеми себе подобными ещё прежде, чем соединится с ними сердцем, так что у него любовь порождается разумом.

Иначе обстоит дело с обществами животных. У каждого вида способности, очень, впрочем, ограниченные и по количеству, и, даже когда они вытекают не из инстинкта, по качеству, равномерно распределены между индивидами. Каждый умеет делать то же, что делают другие, и так же хорошо, как они. Каждый умеет отыскивать пищу, избегать врагов, рыть нору, строить гнездо и т. д. Никто из животных, будучи на воле и здоровым, не ждёт и не требует помощи от соседа, который, в свою очередь, тоже обходится без чужой помощи.

Общественные животные живут рядом друг с другом, не обмениваясь мыслями и чувствами. Все делают одно и то же, им нечему учиться, нечего запоминать. Они один другого видят, чувствуют, соприкасаются друг с другом, но не понимают один другого. Люди постоянно обмениваются между собой мыслями и чувствами, произведениями и услугами. Всё, что происходит в обществе, всё, чему в нём можно научиться, необходимо человеку; но из всей громадной суммы продуктов и идей отдельному человеку дано сделать и достигнуть так мало, что его доля в сравнении с общей суммой подобна атому в сравнении с солнцем. Человек является человеком только благодаря обществу, которое, в свою очередь, существует лишь благодаря равновесию и гармонии составляющих его сил.

У животных общество имеет форму *простую*, у людей же *сложную*. Человека объединяет с человеком тот же инстинкт, который объединяет и животных; но характер общества, объединяющего людей, иной, чем характер обществ, объединяющих животных; из этого именно различия вытекает и всё различие в нравственности.

Я, быть может слишком даже пространно, доказал, основываясь на самом духе законов, считающих собственность основой социального строя, и на политической экономии, что неравенство условий не оправдывается ни первенством оккупации, ни превосходством таланта, заслуг, способностей и усердия. Но хотя равенство условий является неизбежным следствием естественного права, свободы, законов производства, пределов физической природы и самого принципа общества, это равенство всё-таки не останавливает развития чувства общности на границе *должного* и *имеющегося*; дух любви и благотворительности идёт дальше, и, когда в экономии установлено равновесие, душа

начинает наслаждаться собственной справедливостью и сердце расцветает в бесконечных привязанностях.

Тогда чувство общности, соответственно взаимоотношениям людей, принимает новый характер: сильный наслаждается своим великодушием, равные — откровенной и искренней дружбой, слабые же испытывают радостное чувство умиления и признательности.

Человек, особенно одарённый силой, талантами или мужеством, знает, что он всем обязан обществу, без которого он ничто; он знает, что, обращаясь с ним как с последним из своих членов, общество воздаёт ему должное. Но человек не может в то же время не сознавать превосходства своих способностей, не может не сознавать свою силу и величие: этим сознательным прославлением в своём лице всего человечества, этим признанием, что сам он только орудие природы, которая одна достойна славы и благословений, этим одновременным исповеданием ума и сердца, истинным поклонением верховному существу человек отличается от животных и благодаря этому он возвышается до такой степени общественной нравственности, какой животным не дано достигнуть. Геркулес, бескорыстно уничтожающий чудовища и наказывающий разбойников ради блага Греции, Орфей, поучающий грубых и свирепых пелазгов без мысли о награде, — вот наиболее благородные образы, созданные поэзией, высшее выражение справедливости и добродетели.

Наслаждение, которое даёт самопожертвование, не поддаётся выражению.

Если бы можно было сравнить человеческое общество с хором античных трагедий, то я сказал бы, что ряд возвышенных умов и великих душ представляет собою *строфу*, а масса маленьких и скромных людей — *антистрофу*. Обременённые тяжким и обыденным трудом, всемогущие благодаря своей численности и благодаря гармоническому единству своих функций, последние выполняют то, что создают в своём воображении первые. Руководимые первыми, они им ничем не обязаны, но отдают им дань восхищения и приветствуют их похвалами и аплодисментами.

Признательность превращается подчас в благоговение и энтузиазм.

Но равенство дорого моему сердцу. Благотворительность вырождается в тиранию, восхищение — в раболепство: дочерью равенства является дружба. О друзья мои, я хотел бы жить среди вас без соревнования и без славы; я хотел бы, чтобы нас объединяло равенство и чтобы судьба указала нам наши места! Я хотел бы умереть прежде, нежели познакомиться с тем из вас, кто будет наиболее достоин уважения!

Дружба дорога сердцу детей человеческих.

Великодушие, признательность (я разумею здесь лишь признательность, порождаемую удивлением перед высшею силою) и дружба являются тремя различными оттенками одного чувства, которое я назвал бы *справедливостью или социальной соразмерностью*[23] (*équité ou proportionnalité sociale*).

Гуманность не изменяет справедливости, но последняя, основываясь всегда на первой, прибавляет к ней уважение и таким образом создаёт в человеке третью ступень

общительности. Благодаря чувству равенства или гуманности для нас и обязанность и наслаждение помогать нуждающемуся в нашей помощи слабому существу и делать его равным нам; воздавать сильному должную дань признательности и уважения, не становясь его рабом; любить нашего ближнего, нашего друга, человека, равного нам, за всё, что мы получаем от него, даже в обмен за услуги с нашей стороны. Гуманность есть общительность, возведённая разумом и справедливостью до высоты идеала; чаще всего она проявляется в форме *вежливости, учтивости*, которыми у некоторых народов исчерпываются все общественные обязанности.

Это чувство не известно животным. Они любят, привязываются, предпочитают того или иного, но они не понимают уважения, не знают ни великодушия, ни восторга, ни обрядов.

Это чувство порождается не разумом, который рассчитывает, взвешивает и вычисляет, но не любит, который видит, но не чувствует. Подобно тому как справедливость является смешанным продуктом общественного инстинкта и рефлексии, так и гуманность есть смешанный продукт справедливости и вкуса, т. е. нашей способности оценивать и идеализировать.

Этот продукт, третья и последняя ступень общительности в человеке, определяется нашей сложной формой ассоциации, при которой неравенство или, вернее, различие способностей и специальность функций, само по себе имеющее тенденцию изолировать трудящихся, потребовало бы увеличения интенсивности нашей общительности.

Вот почему сила, угнетающая и в то же время покровительствующая, отвратительна, вот почему тупое невежество, которое одинаково смотрит и на чудеса искусства, и на продукты самой грубой промышленности, вызывает невыразимое презрение, а торжествующая посредственность, надменно говорящая: *«Я тебе заплатил, я ничем тебе не обязан»*, возбуждает величайшую ненависть.

Общительность, справедливость, гуманность — таково в его тройной постепенности точное определение инстинктивной способности, заставляющей нас искать общества нам подобных; способ внешнего проявления её можно формулировать следующим образом: равенство в произведениях природы и труда.

Эти три степени общительности предполагают и поддерживают друг друга: гуманность без справедливости невозможна, общество без справедливости — невысказано. В самом деле, если я, для того чтобы вознаграждать талант, беру произведения одного лица и передаю их другому, несправедливо обездоливая первого, то я не обнаруживаю должного таланту уважения; если я в обществе присваиваю себе большую часть, а остальным членам общества предоставляю меньшую, то мы уже не составляем общества в истинном смысле слова. Справедливость есть общительность, обнаруживающаяся в допущении к участию в физических благах, единственных доступных взвешиванию и измерению; гуманность есть справедливость, сопровождающаяся уважением и удивлением — вещами, не поддающимися измерению.

Отсюда можно сделать следующие выводы:

1. Хотя мы вольны оказывать одному человеку больше уважения, нежели другому, и уважение это не имеет пределов, всё же мы не вольны предоставить ему большую долю общественных благ, чем остальным, так как долг справедливости выше долга гуманности и первый всегда должен предшествовать второму. Древние преклонялись перед женщиной, которую тиран принудил выбирать между смертью мужа и смертью брата и которая пожертвовала первым, говоря, что она может найти мужа, но брата найти не может; я утверждаю, что эта женщина, повинувшись свойственному ей чувству гуманности, совершила поступок дурной и несправедливый, ибо брачный союз теснее союза братского и человеческая жизнь не принадлежит нам.

Согласно этому принципу неравенство вознаграждения не может быть внесено в законодательство под предлогом неравенства способностей, ибо основанное на справедливости распределение благ относится к области хозяйства, а не к области чувств.

Наконец, что касается подарков, завещаний и наследств, то общество, оберегая и семейные привязанности, и свои собственные права, не должно допускать, чтобы любовь и предпочтение нарушали справедливость. Даже будучи убеждённым, что сын, давно уже принимающий участие в трудах отца, более, чем кто бы то ни было другой, способен продолжать эти труды; что гражданин, застигнутый смертью за неоконченным делом, инстинктивно и из любви к своему делу сумеет назначить наилучшего продолжателя этого дела, общество, предоставляя наследнику право выбирать между разного рода наследствами, не может терпеть никакой концентрации капитала или доходов в руках одного человека, никакой эксплуатации труда, никакого грабежа[24].

2. Чувство гуманности, справедливости и общительности живое существо может испытывать только по отношению к индивидам своего рода; по отношению к существам другого вида оно немислимо; волк к козе, коза к человеку, человек к Богу и тем более Бог к человеку не может питать этого чувства. Приписывание высшему Существому атрибутов вроде любви, гуманности и справедливости есть чистейший антропоморфизм; эпитеты: справедливый, милостивый, милосердный и пр., которые мы прилагаем к Богу, должны бы быть вычеркнуты из наших молитв. Бога можно бы считать добрым, справедливым и гуманным лишь по отношению к другому Богу; но Бог один, и, следовательно, он не может испытывать общественных чувств, какими являются гуманность, справедливость, доброта. Разве говорят о пастухе, что он справедлив по отношению к своим овцам и собакам? Нет; но если бы он захотел настричь с шестимесячного ягнёнка столько же шерсти, сколько с двухлетнего барана, и если б вздумал заставить щенка стеречь стадо, как стережёт его старая собака, то о нём не сказали бы, что он несправедлив, а прямо назвали бы его безумным. Дело в том, что между человеком и животным не может быть общественной связи, хотя возможна привязанность. Человек любит животное как *вещь*, если угодно, как *вещь одушевлённую*, но не как *личность*. Исключив из понятия о Боге страсти, которые приписывало ему суеверие, философия будет вынуждена исключить также и добродетели, которыми его щедро наградило наше религиозное чувство[25].

Если бы Бог спустился на землю и стал жить среди нас, мы не могли бы любить его, если бы он не сделался подобным нам, не могли бы дать ему что бы то ни было, если бы он сам ничего не производил, не повиновались бы ему, пока бы он не доказал нам, что мы заблуждаемся, и не преклонялись бы перед ним, пока он не обнаружил бы нам своего могущества. Все законы нашего бытия, законы чувств, разума, законы экономические заставляли бы нас относиться к нему, как и ко всем другим людям, т. е. разумно, справедливо и гуманно. Я делаю отсюда заключение, что если Бог пожелает когда-либо войти в непосредственные сношения с человеком, то ему придётся самому превратиться в человека.

Итак, если короли являются подобиями Бога и исполнителями его желаний, то они могут рассчитывать на любовь, повиновение и прославление с нашей стороны лишь с тем условием, что они будут работать, как мы, будут вступать в общение с нами, будут производить столько же, сколько и расходовать, и самолично совершать великие дела. Если же, как утверждают иные, короли являются общественными должностными лицами, то любовь к ним также будет определяться их личными качествами, обязанность повиноваться им — основательностью их распоряжений, а гражданский лист — суммой всех произведений общества, делённую на число членов последнего.

Таким образом, и юриспруденция, и политическая экономия, и психология — всё одинаково приводят нас к закону равенства. Право и обязанность, вознаграждение, заслуженное талантом и трудом, порывы любви и энтузиазма — всё это регулируется сообразно неизменному мерилу, всё зависит от числа и равновесия. Равенство условий — вот принцип всякого общества, всеобщая солидарность — санкция этого принципа.

Равенство условий никогда ещё не было осуществлено благодаря нашим страстям и благодаря нашему невежеству; но наше противодействие этому принципу всё более и более обнаруживает его необходимость; об этом свидетельствует вся история и весь ход событий. Общество идёт от уравнения к уравнению; с точки зрения наблюдателя-экономиста, революции в сфере власти представляют собою только либо приведение алгебраических величин, взаимно исключаящихся, либо выведение неизвестной величины, вызванное неизбежным действием времени. Числа суть провидение истории. Конечно, в прогрессе человечества принимают участие и другие элементы; но из множества скрытых причин, волнующих народы, одною из самых могущественных, регулярных и наименее скрытых являются периодические возмущения пролетариата против собственности. Собственность, действующая одновременно и устранением и вторжением, между тем как народонаселение возрастает, собственность была принципом, породившим и определившим все революции. Религиозные и завоевательные войны, за исключением тех случаев, когда они вели к уничтожению целых племён, были случайными и быстро восстанавливаемыми нарушениями чисто математического прогресса жизни народов. Таково могущество накопления собственности, таков закон упадка и смерти обществ.

Иллюстрацией могут служить в средние века Флоренция, республика купцов и посредников, постоянно раздираемая междоусобиями партий, называвшихся гвельфами и гибеллинами, а на самом деле представлявших собою враждебные друг другу простой народ и аристократов-собственников, порабощённая банкирами и в конце концов погибшая под бременем долгов[26]; в древности Рим, подтачиваемый с самого своего возникновения

ростовщицеством, тем не менее процветавший, пока мир давал *работу* его ужасным пролетариям, и погибший от истощения, когда народ, вместе с прежней энергией, утратил последнюю искру нравственного чувства; Карфаген, город торговли и денег, непрестанно раздираемый внутренними междоусобицами; Тир, Сидон, Иерусалим, Ниневия, Вавилон, разорвавшиеся один вслед за другим благодаря торговой конкуренции и, как мы говорим теперь, благодаря отсутствию сбыта. Разве все эти примеры не показывают с достаточной ясностью, какая судьба ожидает современные нации, если народ, если Франция не провозгласит своим могучим голосом уничтожения общественного строя, основанного на собственности?

На этом труд мой должен бы закончиться. Я доказал права бедняка, я доказал, что собственник — узурпатор; я требую правосудия, приведение приговора в исполнение меня не касается. Если, для того чтобы выиграть несколько лет незаконного пользования, мне возразят, что мало доказать необходимость равенства, что надо ещё его организовать, тщательно избегая при его организации раздоров, то я вправе буду ответить: заботы об угнетённых важнее затруднений власть имущих. Равенство условий есть основной закон, на котором покоится политическая экономия и юриспруденция. Право на труд и на равную долю в благах земных не должно склоняться перед опасениями власти; не пролетарий должен примирять противоречия, заключающиеся в законах, и тем более сносить заблуждения правительств, наоборот, гражданские и правительственные власти должны быть преобразованы согласно принципу политического и имущественного равенства. Раскрытое зло должно быть осуждено и уничтожено; законодатель не может опираться на своё незнание будущего строя и поддерживать явную несправедливость. Восстановление в правах откладывать нельзя. Справедливость, правосудие; признание права; восстановление в правах пролетария — таким образом вы, судьи и консулы, имея в виду полицию, создадите республиканское правительство.

Впрочем, я не думаю, чтобы кто-нибудь из моих читателей упрекнул меня в том, что я умею разрушать, а созидать не умею. Доказав принцип равенства, я положил первый камень социального здания; более того, я указал путь, которому надо следовать при разрешении политических и законодательных вопросов. Что касается самой науки, то я говорю открыто, что знаю только её принцип, и полагаю, что в настоящее время никто не может похвастать большим знанием её. Многие люди восклицают: придите ко мне, я научу вас истине. Эти люди считают истиной своё внутреннее убеждение, свою восторженную уверенность; они обыкновенно заблуждаются относительно истины вообще. Наука об обществе, как и все вообще человеческие науки, останется на веки веков неоконченной; глубина и разнообразие обнимаемых ею вопросов неисчерпаемы. Мы едва познакомились с азбукою этой науки; доказательством этого служит тот факт, что мы ещё не пережили периода созидания систем и по-прежнему вместо фактов признаём авторитет большинства борющихся сторон. Одно грамматическое общество разрешало лингвистические вопросы большинством голосов; дебаты наших палат были бы ещё смешнее, если бы они не приводили к таким ужасным последствиям. В наше время задачей истинного публициста является разоблачение изобретателей и шарлатанов и приучение публики к тому, чтобы она верила только доказательствам, но отнюдь не символам и программам. Прежде чем приступать к изложению какой-либо науки, необходимо определить её предмет, найти её принцип и метод; необходимо очистить её от загромождающих её предрассудков. Такова задача

девятнадцатого столетия.

Сам я, согласно своему обету, останусь верен делу разрушения и буду преследовать истину сквозь развалины и обломки. Я ненавижу полуоконченную работу, и мне без особенных предупреждений с моей стороны могут поверить, что если я дерзнул поднять руку на кивот завета, то я не удовлетворюсь тем, что сбросил с него покров. Нужно, чтобы тайны святилища неравенства были разоблачены, чтобы скрижали Ветхого завета были разбиты и все предметы поклонения брошены в навоз, свиньям. Нам была дана хартия, совокупность всех политических знаний, символ двадцати законодательств; был написан кодекс, гордость завоевателя, полное выражение всей античной мудрости, но от этой хартии, от этого кодекса не останется ни единого параграфа. Отныне учёные могут составить себе своё собственное мнение и приготовиться к пересозданию всего старого.

Но так как раскрытое заблуждение предполагает по необходимости противоположную ему истину, то я не окончу этого сочинения, не разрешив первой проблемы политической науки, проблемы, которой в настоящее время заняты все умы.

Если собственность будет уничтожена, то какова будет форма общества? Будет ли это форма коммунистическая?

Версия #1

Зверобой создал 27 июня 2025 02:13:00

Зверобой обновил 27 июня 2025 02:16:13